



ВИКТОР КУСТОВ

ВЕСТНИК

/ ПОВЕСТЬ О ДАНИИЛЕ АНДРЕЕВЕ /

18+

Виктор Кустов

**Вестник. Повесть о
Данииле Андрееве**

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Кустов В. Н.

Вестник. Повесть о Данииле Андрееве / В. Н. Кустов — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Даниил Андреев - один из самых загадочных писателей XX века, а его труд "Роза Мира" относят то к фантастике, то к философии. Но несомненно он является одним из самых ярких поэтов. Жизнь его была драматична с момента рождения до самого последнего дня, но несмотря на это он был оптимистом.

Содержание

/Бусенька	5
/Восход души	12
/Антитеза	22
/Раскрытие	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Бусенька

Он проснулся, а Бусеньки нет.

– Бабушка, – позвал Даня. – Я уже совсем выздоровел.

Но вместо бабушки вошёл дядя Филипп.

– Вот и замечательно, – бодро произнёс он.

Положил мягкую руку Дане на лоб.

– И ты выздоровел, и солнышко светит... Покажи-ка мне горлышко...

Он открыл рот, не ощущая прежней боли, отчего даже охотно выставил как можно дальше язык и дяде Филиппу не пришлось долго разглядывать, что у него осталось в горле, так мешавшее прежде дышать.

– Ну вот, совсем хорошо, – сказал он.

– А где Бусенька?

– А она теперь далеко...

Дядя Филипп отвернулся, что-то делая с трубочкой, через которую он узнавал, что у кого болит, потом, повернувшись, внимательно глядя на осунувшееся после болезни лицо мальчика, произнёс:

– Давай мы тебя слушаем...

Даня охотно откинул одеяло, открывая своё тело, с улыбкой ожидая прикосновения трубочки и ощущая кожей ветерок от дыхания склонившегося над ним дяди Филиппа.

– Подыши, Данечка...

Он глубоко вдохнул, отчего стали видны рёбрышки, и солнечный луч, проскользнувший в щель портьеры, ласково и тепло их коснулся.

– Повернись, – сказал дядя Филипп.

Так не хотелось прогонять этот тёплый лучик, но дядю Филиппа надо было слушаться, он всегда слушался его даже больше, чем папу, и Даня быстро перевернулся на живот. Трубочка коснулась его спины, стало щекотно. Он хотел засмеяться, но сдерживался, пока дядя Филипп не убрал её, и тогда весело повторил:

– А где Бусенька, пусть она придёт...

– Ну вот, скоро можно будет и гулять, – сказал дядя Филипп, убирая трубочку и поднимаясь. – Но пока полежи.

– Пусть Бусенька придёт, – повторил он.

– Понимаешь, Данечка, она никак не может прийти.

– Почему? – удивился он.

Бусенька всегда была рядом, сколько он себя помнил. Бусенька и мама Лиля. А ещё дядя Филипп. Совсем редко – папа. Он помнил папу, больше играющим с ним на зелёной лужайке перед домом, в котором ещё жил его старший брат Вадим, которому было уже девять лет, а ещё капризный тоже брат Савва, который любил убежать от папы, а тот его любил догонять. Ещё там жила большая девочка Нина и маленькая Вера, с которой было неинтересно... А ещё папина тётя Аня. Но она с ними совсем не играла.

Больше всего ему запомнилось, как они ездили в большой лес, где были огромные деревья и текла река с коричневой водой, а в ней шевелились зелёные существа, которые цеплялись за ноги, когда папа учил его плавать. Папа называл этих существ тинной, говорил, что они совершенно неживые и они действительно становились такими, когда их вытаскивали на берег, превращаясь в мягкую и скользкую массу, неподвижно лежавшую на берегу, совсем непохожую на ту, что продолжала угрожающе извиваться в тёмной воде.

И высокие деревья со стройными тёплыми стволами, и извилистая речка, то быстрая и говорливая, то совсем замершая, тихая, гладкая, и выстроенные полукругом большие телеги,

на которых они все приезжали, и расставленные, разложенные возле них, сверкающие на солнце самовары, ослепительной белизны блюда с кушаньями, большие кувшины с напитками – всё это вызывало у Дани желание смеяться, бегать, проказничать... И они все, включая папу, бегали, визжали, ловили друг друга, падали, пока совсем не уставали. А потом на обратной дороге забирались на телеги и под мерное покачивание быстро засыпали...

Он бывал у отца и зимой, но катания на лыжах и санках не так ему запомнились, хотя рядом с домом заливали большую скользкую горку, с которой санки неслись так, что щёки обжигал мороз...

Иногда они с Бусенькой или дядей Филиппом и мамой Лилей заставляли у папы незнакомых ему дядь и тётъ. Тогда отец не обращал на детей никакого внимания, разве что только на маленького Савву, которого выводил к дяде художнику, жившему неподалёку. Этот художник рисовал папу, но никак не мог нарисовать. А однажды папа захотел сам всех нарисовать каким-то странным ящиком. И заставил бабушку взять в руки большое знамя и сесть на маленькую лошадку. Бусенька послушалась, но у неё за стёклами очков глаза были совсем невесёлые, и Даня догадался, что она совсем не хочет, чтобы её нарисовали...

– Я соскучился по Бусеньке, – он жалобно посмотрел на дядю Филиппа.

– Я потом тебе всё объясню, – сказал тот, выходя из комнаты.

Лучик всё ещё пересекал постель и Даня пододвинулся так, чтобы он опять лежал на его груди, подумал, что теперь он не болеет и они могут с Бусенькой съездить к папе. И ему надо было сказать ей об этом тотчас же. Он встал, осторожно приоткрыл дверь своей комнаты и медленно пошёл по коридору, сначала решив, что Бусенька обязательно в передней, она часто там читала, сидя в кресле или на диване, или беседовала с пациентами дяди Филиппа, которые ждали приглашения в приёмную на осмотр.

Но её там не было и он заглянул на кухню, откуда всегда доносились разные запахи и зимой было тепло, а летом жарко и где она бывала непременно, пробуя готовившуюся еду. Он поднялся обратно, решив, что она пошла гулять или же сидит в дворике перед домом. Об этом могла знать мама Лиля, поэтому он зашёл в комнату к ней.

Та при виде его не смогла скрыть удивления:

– Данечка, почему ты здесь?

– Я ищу Бусеньку, – сказал он.

– Тебе ещё надо полежать в постели, – сказала мама Лиля, вставая из-за стола и беря его за руку. – Ещё немножко, чтобы болезнь больше не вернулась.

И повела в его комнату, уложила в постель, укрыла одеялом, подтыкая уголки.

– Мне надо с ней поговорить, – прошептал он.

Но усталость от столь длительного путешествия уже брала своё, постель превратилась в мягкое и тёплое облако, на котором было так сладко засыпать...

Теперь он проснулся совсем здоровым и дядя Филипп разрешил ему вставать и обедать вместе со всеми.

Бусеньки за столом не было. Но спросить, где она, Даня не успел: уже совсем большая его сестра, дочь дяди Филиппа и мамы Лили Шуручка, которой он верил и даже доверял кое-какие тайны, сказала, что после обеда она расскажет ему о бабушке, а сейчас он должен хорошо кушать, чтобы быстро набраться сил, и тогда они отправятся гулять в Кремль...

Ходить в Кремль он любил. Но это надо было заслужить. Гулять по городу его водили в награду за хорошее поведение и успехи в течение недели. И больше всего ему нравилось путешествовать на трамвае.

Дядя Филипп тоже любил ездить на трамвае и обязательно брал с собой книгу, а возвращаясь, рассказывал, что он прочитал, пока ездил к своим пациентам или в больницу, где он служил.

Когда Даня поощрялся поездкой с кем-нибудь из старших, он каждый раз выбирал новый маршрут и, заняв место, прикинул к окну, разглядывая незнакомые улицы, дома, людей...

Кремль был ближе, но ходить с ним туда не очень-то любили, потому что не могли зимой или в холодную погоду заставить его надеть шапку: он был уверен, что в этом месте можно находиться только с непокрытой головой...

Но рассказать Шура так и не успела – в прихожей раздались голоса – пришли гости. Они проходили мимо, непременно глядя его по голове, отмечая, что за то время, пока его не видели, он опять вырос. А кто-нибудь обязательно говорил, что он стал совсем взрослым и, направляясь к столу, добавлял, что, что же делать, так всё в мире устроено: юное растёт, а старое уходит, чтобы освободить место...

Потом гости расселись вокруг стола, но его никто не стал отправлять в свою комнату и он, пристроившись в сторонке, ждал, когда сюда придёт Бусенька; она, высокая в своём длинном платье, со строгим выражением лица, всегда обязательно выходила к гостям и охотно с ними разговаривала.

– Леонид тоже виноват, он поступил неосмотрительно, – говорил один из гостей. – Разве можно доверять револьвер чужому человеку. Мало ли, что он себя называл революционером. Не следует поддаваться симпатии.

– Действительно, трудно кого-либо осуждать, мы ведь не знаем всех подробностей, – произнёс статный и серьёзный мужчина, которого все звали Иван Алексеевич. – Но случай вопиющий и свидетельствует об общественном нездоровье. А вы знаете какие-нибудь подробности? – повернулся он к дяде Филиппу.

– Елизавете Михайловне что-то рассказывали, – уклончиво отозвался тот, и гости ожидающе стали смотреть на маму Лилию.

– Этот ваш революционер-эр, едва не убил Леонида, – с осуждением произнесла она. – На самом деле они оба, учитель и этот преступник оказались, несмотря на то, что читали книжки, оказались невежественными людьми. И поразительно наглými...

Услышанное от племянника и жены Леонида всё ещё не было ею пережито. Занятая последние дни своим горем и печальными хлопотами, она забыла о теперь уже давнем, закрытым собственными хлопотами, случившемся с бывшим мужем её сестры, но теперь вспомнила и, отвлекаясь от собственных горьких мыслей, стала рассказывать то, что услышала от видевшего эту сцену племянника Вадима и жены Леонида, Анны Ильиничны, благодаря которой, собственно, тот и остался жив.

Она помнила, как радовался Леонид, когда в их доме появился учитель – молодой, переполненный смелыми мыслями, выпускник университета Михаил. Он надеялся, что тот станет другом для старшего сына, в какой-то мере восполнит тот недостаток внимания, которого не могли дать ни мачеха, ни он сам. Он видел, что отношения между его старшими сыновьями от так рано покинувшей этот мир Александры и нынешней женой Анной Ильиничной никак не складываются. И хотя та не выделяла свою старшую дочь Нину, но детей, родившихся от Леонида, любила больше, чем сыновей его первой жены и не скрывала этого. И если младший Даниил, живя у Добровых и лишь изредка навещаясь к ним в гости, этого не замечал, Вадим подобное отношение переживал. Учитель должен был компенсировать недостаток внимания к старшему сыну, стать тому другом. К тому же Михаил оказался начитанным и любознательным молодым человеком, весьма оригинально и смело мыслил и Леониду Николаевичу самому было интересно разговаривать, а нередко даже спорить с ним.

Но, спустя время, первое впечатление, произведённое стройным юношей с модной бородкой и такими же модными суждениями о жизни, сменилось на разочарование. Его методы обучения были не только непонятны, но и казались странными. За малейшую провинность он наказывал Вадима. «сажая в тюрьму», то есть запирали в пустой комнате, заставлял штудировать уроки, не особенно их объясняя.

И всё-таки отказаться от его услуг Леонид Николаевич не спешил, уж слишком интересны были их беседы и споры, к тому же Михаил оказался большим книголюбом и добился разрешения хозяина пользоваться его библиотекой.

Летом хозяева уехали в Крым и именно учителя Андреев оставил за главного в доме. А тот распорядился принять и оставить неведомо каким ветром заброшенного к ним беглого преступника, крестьянина из Новгородской губернии, который объявил себя «политическим». Звали его Абрам. Вернувшиеся хозяева, поверив на слово и Михаилу и Абраму, определили обязанностью последнего следить за хозяйством и охранять его. Как охраннику ему и выдал Андреев револьвер с патронами.

Необычайное сближение образованного выпускника университета и полуграмотного «политического» заметили все. И, видя, что Абрам теперь в свободное время сидит с книгой, расценили это как доброе дело.

Сказать, что за два года, которые прожила эта пара в семье Андреевых, у них не случилось ссор с хозяевами, нельзя. И прежде всего это проявлялось в неподобающем отношении к чужой собственности. Оба, и учитель, и Абрам, не спрашивая, брали и пользовались не только книгами, но и другими вещами хозяев. Но Леонид Николаевич относил это к новому прогрессивному взгляду на собственность, который проповедовали оба, и даже упрекал Анну Ильиничну, которая никак с этим не хотела согласиться.

Но в конце года в предпасхальные дни всё накопившееся в Леониде Николаевиче раздражение прорвалось, когда Абрам опять взял без спроса то, что хотел, и он, вспыхнув, велел охраннику убираться.

– Это настоящий убийца, – голос Елизаветы Михайловны, севший за эти дни от печали и слёз, вдруг зазвенел. – Как Лёня не мог этого не видеть!..

– Лизонька, успокойся, – вмешался дядя Филипп. – Всё же хорошо закончилось...

Даня уже слышал эту страшную историю, которая приключилась с его отцом и людьми, жившими с ними. Учителя своего брата он помнил, тот был совсем нестрашным, хотя Вадим и не любил его. А вот того, кого называли Абрамом, совсем не помнил и поэтому представлял его то с чёрной повязкой на глазу, то со злым, как рисуют преступников, лицом и обязательно с огромным револьвером в руке...

– Вадим слышал как они ругались, и по его рассказу это выглядело так: Леонид приказал Абраму немедленно уйти, тот отказался. Тогда Леонид из своего револьвера выстрелил в потолок. А Абрам из того, который ему Лёня дал раньше, стрелял в Леонида Николаевича, но Анна Ильинична ударила его по руке и пуля пролетела мимо... – закончил дядя Филипп рассказ за жену.

– Как замечательно, когда рядом верная жена. – негромко заметил Иван Алексеевич. И продолжил: – Но лучше было, если бы они не пригостили этого политического. Такие, как этот Абрам, ещё принесут России немало горя.

– Зачем же сразу – «политический» значит преступник, – возразил другой гость. – Не всякий, кто себя выдаёт за революционера, им является. Этот Абрам – чистый уголовник, это теперь всем ясно. А Леонид Николаевич разбираться в разнице не был намерен, вот и результат...

И взрослые продолжили совсем неинтересный Дане разговор, а бабушка всё не приходила и он незаметно выскользнул за дверь...

Шурочку он нашёл в её комнате и, входя, сразу же сделал насупленное лицо, показывая, что обижен на неё, так и не рассказавшую, почему нет Бусеньки.

– Садись, Данечка, – предупредила она его навернувшиеся слёзы и сама отчего-то вытирая глаза платочком. – Ты же знаешь, где твоя мама?

Даня посмотрел на неё. Кивнул.

А Шурочка, всё продолжая сжимать в руке платок, блестя влажными глазами, продолжила:

– Когда ты заболел, бабушка всё время было рядом с тобой, ты же это помнишь?

Он кивнул, хотя не мог точно сказать, чьё лицо видел над собой, когда задыхался и, как ни старался, никак не мог вдохнуть полной грудью.

– Ну вот... А потом наша бабушка Ефросинья Варфоломеевна, Бусенька, тоже заболела. И сейчас она в больнице, её там лечат, как и тебя.

Шурочка глубоко вздохнула, словно ей тоже не хватало воздуха, прижала платок к глазам и, стараясь быть бодрой, произнесла:

– Но она так соскучилась по своей Шурочке, по твоей маме, что хочет скорее с ней встретиться.

– Но моя мама в Раю.

– Вот и бабушка очень хочет туда попасть. А ты же знаешь, чтобы пойти по дороге в Рай, нужно умереть...

И она посмотрела на него, ожидая подтверждения.

Даня кивнул.

– Она бы уже это и сделала, но очень хочет, чтобы ты одобрил её решение. Ты же не будешь против?

И Шура замолчала, ожидая его ответа.

– А она очень хочет увидеть маму? – через некоторое время спросил он.

– А ты очень хочешь видеть Бусеньку? – ответила вопросом она. – И бабушка хочет видеть твою маму ещё сильнее...

– Тогда она, так же как мама, больше никогда не придёт?

– Нет. Оттуда никто не приходит, там всем хорошо, – сказала Шура. – Но когда ты вырастешь, придёт время и ты встретишься там и с бабушкой и с мамой.

– Когда? – уточнил он.

– Когда тебе нужно будет идти туда, – ответила Шура. – Но это ещё очень нескоро, – торопливо добавила она. – Так ты отпускаешь её?

– Если она так хочет, – неуверенно отозвался он.

– Ну вот, я так ей и передам... – вздохнула Шура и опять поднесла платок к глазам.

– А можно я напишу ей письмо? – вдруг спросил он.

– Письмо? – удивилась она. – Ну хорошо, напиши...

Получив от Шурочки всё необходимое для письма, он побежал в свою комнату и стал выводить на листе большие буквы, разрешая Бусеньке отправиться в Рай и обязательно передать там маме, что придёт время, как сказала Шурочка, и он с ней встретится...

...Потом наступили замечательные дни, заполненные множеством событий, которые бывают летом, когда мир раздвигается так, что его трудно даже вообразить. И когда уже стало совсем тепло и наступили самые короткие ночи, они всем семейством дядя – Филипп, мама Лиза, Саша, Шурочка и он – выехали в дом отца на Чёрную речку.

Отец был в отъезде по делам, но зато все остальные в большом доме были им рады и дни завернулись в весёлых заботах и играх.

Скоро Даня исследовал все окрестности, определив свои любимые места. Больше всего ему нравилось ходить на реку. Вода, то янтарная в солнечных лучах, то коричневая под тенью белых облаков, то чёрная в пасмурный день, притягивала его, поражая непредсказуемой и всегда неповторимой игрой живых зелёных водорослей, неостановимым движением неведь куда и зачем. Он догадывался, что вставать на его пути бессмысленно, что любая преграда не остановит это движение, а лишь заставит воду растекаться в разные стороны, упорно стремясь к своей цели...

Он уже знал, что когда люди тонут, они также направляются по дороге в Рай, где теперь уже бабушка встретилась с мамой. Однажды ему так захотелось их увидеть, что он уже совсем было решил спрыгнуть вниз с моста, но помешал дядя Филипп, который совсем его заискался, потому что уже было довольно поздно.

– Что же ты здесь делаешь ? – удивился он его отстранённому выражению лица, отсутствующему взгляду.

И Даня сказал о том, о чём только что думал.

Дядя Филипп почему-то побледнел и, крепко взяв его за руку, по пути домой стал объяснять, что встречу с мамой и бабушкой нельзя ускорить, потому что эта встреча будет только тогда, когда настанет срок.

– А когда он настанет? – спросил Даня.

– Ну этого никто не знает, кроме Господа, – ответил дядя Филипп. И добавил: – И кроме Него никто не может определить точное время. Поэтому, если бы ты это сделал, ты бы никогда с ними не встретился.

И Даня, подумав, согласился с ним...

...Возвращались они домой раньше времени и вместе с Вадимом. Взрослые говорили, что отпуск пришлось прервать из-за войны, которая вдруг началась. И папа решил, что Вадиму лучше это беспокойное время пожить в городе. Добровы с ним согласились

По возвращении братьев разместили в бывшей комнате Бусеньки. От неё здесь остались образа, сундук и ларец. Перед иконами стояли никогда не зажигавшиеся венчальные свечи их матери, в сундуке хранились её платья, а в ларце лежали бусы и ленты её украинских костюмов, напоминая братьям о их родстве с далёким предком Тарасом Шевченко.

Вадиму с младшим братом играть было неинтересно. Даня боялся высоты, не любил быстрых игр и вообще больше напоминал девчонку, чем друзей Вадима. Гимназия, куда его определили, ему тоже не понравилась и он скоро заскучал и стал проситься обратно к отцу. И Добровы, поняв, что не могут его переубедить, отвезли Вадима обратно.

Даня не очень огорчился, у них с братом были разные игры. К тому же у него теперь было увлечение, о котором он даже сообщил отцу в письме.

«Дорогой папа! Поздравляю тебя с праздником. Как ты живёшь? У меня недавно болели грудь и горло. Я ужасно интересуюсь допотопными животными. Наш знакомый господин надиктовал мне разные названия животных. Там были и Атлантозавр, Протозавр, Телеозавр и многие другие.

У нас в школе завели собственную азбуку... Мне ужасно хочется, чтобы было лето. В Москве ужасные лужи и так здесь плохо, что на трамваях по четыре стоят на последней подножке. Шура уедет на осень и на зиму в Тифлис актрисой.

И она так рада, что не проходит минуты, чтобы она не накричала так, что в Петрограде слышно.

Целую крепко бабу Настю.

Как живёт Вадим? Его поцелуй тоже от меня.

Всё ли ещё Поляна спрашивает прохожих, сидит ли на ней Вадим? Неужели баба Настя играла в опере простого волка. На меня прямо на нервы влияет слово Пасха Х.В.. Я её не могу дождаться. Хотя у нас и светит солнце, всё-таки ужасно умопомрачительно плохо.

Я целую всех. Даня».

А ещё он не мог сдержаться, чтобы не поделиться своими творческими планам, и сообщил, что пишет два рассказа «Путешествие насекомых» и «Жизнь допотопных животных».

Пасха в этот первый год войны была ранней, в марте. Он писал это письмо втайне надеясь, что тем самым ускорит её приход.

Как надеялся, что своими письмами солдатам на фронт ускорит окончание войны.

« Скоро кончится война и мы все будем в городе и будем с тяжёлыми душами вспоминать о прошлом». «Так надоела эта война, что прямо кажется умрёшь», – чётко выводил он, так чтобы это было понятно солдатам.

Дядя Филипп теперь работал не только в первой градской больнице, но и в госпитале.

Гости теперь говорили в основном о положении на фронте и о возникающих в связи с этим трудностях в их жизни.

Но скоро к войне привыкли.

Следующим летом к ним неожиданно приехали отец с Вадимом.

Добровы снимали дачу в Бутово и у них было достаточно свободного времени для общения. Взрослые довольно скоро переговорили всё, что считали важным, и отец стал больше времени проводить с сыновьями. Июльскими вечерами они втроём ходили гулять берёзовыми рощами к уходящим к горизонту полям. Когда-то отец гулял здесь с их матерью, и однажды по пути он стал вспоминать, где они останавливались, чем любовались. Наконец дошли до маленького, заросшего жёлтыми кувшинками и белыми водяными лилиями пруда, окружённого ивами и высокими стройными берёзами, куда когда-то счастливые влюблённые приходили купаться. И вдруг отец замолчал, остановился, затем быстро пошёл обратно...

На следующий день он уехал, хотя хотел прежде побыть несколько недель.

Восход души

В мире взрослых, который становился всё более понятным ему, происходили какие-то перемены. Но в доме Добровых всё также многолюдно, шумно. Здесь непрерывно что-то варится, жарится и подаётся к завтраку, обеду, к чаю и просто так всяческим внеочередным гостям, которые обсуждают мировые проблемы, делятся новостями, говорят об искусстве и неизменно спорят. Гости теперь стали более громкими и раздражительными, чем прежде, часто споры приводят к разладу. Прежде обсуждали войну, а теперь всё больше революцию.

Даниил уже многих из них знал.

Иван Алексеевич Бунин был писателем, а Александр Николаевич Скрябин – композитором. Самым шумным и громкоголосым был Фёдор Иванович Шаляпин, который, навеваясь после гастролей, всегда рассказывал о том, что видел и где бывал. Чаще всего заходила Надежда Сергеевна Бутова, тётя Надя. Она была актрисой и давала уроки Шуручке, мечтающей о театре. Но совсем не походила на других актрис, которых Даня видел, больше на монахиню. Она была глубоко верующей и сосредоточенной на чём-то неведомом ему. И очень интересно рассказывала о православии.

А его крёстный, записанный в церковной книге некогда как «города Нижнего цеховой малярного цеха Алексей Максимович Пешков», был, как и Бунин, писателем, но Даня уже знал, что на его крестинах тот не был, потому что находился за границей, но письменно уведомил о своём желании «быть крёстным отцом сына Леонида Николаевича Андреева – Данила» и за него был брат мамы дядя Павел, а крёстной мамой – мама Лиля.

Ему было уже одиннадцать лет, и он уже давно знал, что его любимую Бусеньку, заразившуюся от него, похоронили, прежде чем он окончательно выздоровел. Что его отец, известный писатель, наконец-то справился со своей «запойной» болезнью, так огорчавшей родных и близких, и совсем перестал выпивать. Он стал необычайно энергичен, охотно принимал участие в политических дискуссиях и вспоминал мятежное время, когда они с его крёстным добивались столь нужных прогрессивному обществу свобод, и которое Даня не мог помнить, потому что он тогда только собирался родиться. И выходило, что свобод ещё было недостаточно и нужно было снова совершать революцию.

Наступил тысяча девятьсот семнадцатый год от Рождества Христова, споры и шумные разговоры уже вышли из квартир на улицы. И Даня ощущал беспокойство и ожидание чего-то страшного, но неизбежного впереди, которые охватили не только Добровых и их знакомых, но, кажется, разлились по улицам.

Впитывая этот, пока непонятный ему ветер перемен, январским днём он записал в свою заветную тетрадь, которая уже постепенно заполнялась собственными сочинениями:

*Буду Богу я молиться,
Людям помогать,
А чудесная Жар-птица
Мне тоску свивать.*

Январь сменился февралём, царь отрёкся от престола, все громко стали говорить о свершившейся революции.

Дядя Филипп убеждал всех, что произошедшее к лучшему, потому что перемены давно уже назрели и следует соответствовать цивилизованному миру, в котором сегодня всё более привлекает демократическая форма правления.

Отец тоже не скрывал своей радости, отметив эту дату в своём дневнике: «27(т.е.28) Февраля 1917 г., 4 часа ночи, нынче – 27 февраля 1917 г. Один из величайших и радостных дней для России. Какой день!».

Он не мог и не хотел скрывать своей причастности к свершившемуся: ещё до рождения Даниила в феврале 1905 года на квартире Андреева состоялось заседание ЦК РСДРП, за что Леонид Николаевич был арестован вместе с девятью членами ЦК партии и посажен в Таганскую тюрьму. И с того времени был под неусыпным вниманием жандармов. Тогда они и стали очень близки и дружны с Алексеем Пешковым.

Но этой убеждённости в долгожданных благих переменах хватило ненадолго. Теперь всё менялось настолько стремительно, что не успели обсудить Керенского, как уже более интересными стали Ленин и Троцкий.

Потом темой разговоров стала карточная система; на карточку давали четверть фунта хлеба на человека в сутки. И не хотелось верить, как предрекали многие, что это ещё хорошо. Отец в Петербурге стал очевидцем большевистского переворота и ужаснулся ему. Отношения крёстного с отцом совсем разладились. Леонид Николаевич обвинил Горького в сотрудничестве с большевиками, которых считал губителями России. Теперь они – некогда близкие друзья – стали едва ли не врагами. Приняв февральскую революцию, Леонид Николаевич не принял её лидеров, в которых не видел достойных руководителей новой демократической страны. Возник проект патриотической газеты «Русская воля», где он сначала был редактором трёх отделов, а немного спустя стал главным редактором, который писал: «По июльским трупам, по лужам красной крови вступает завоеватель Ленин, гордый победитель, триумфатор, – громче приветствуй его, русский народ!» И далее, не понятое современниками и Даниилом: «Кто же ещё идёт за тобою? Кто он, столь страшный, что бледнеет от ужаса даже твоё дымное и бурное лицо? Густится мрак, и во мраке я слышу голос: – Идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас огнём и соберёт пшеницу в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым». Антибольшевистская газета просуществовала всего девять месяцев как неспособный к жизни эмбрион, только до октябрьского переворота и прихода к власти большевиков.

Но это всё проходит мимо Дани, хотя отзвуки политических баталий, в которых принимает участие отец, – предмет частых обсуждений взрослых. У него полно своих забот и дел...

Потом наступил новый год уже в новом государстве. На какое-то время темой разговоров становится введение нового календаря, когда первого февраля вдруг сразу стало четырнадцатым.

Дольше всего обсуждали знамение, когда в заходящем солнце над Москвой обозначился багровый крест. По мнению большинства он не предрекал ничего хорошего.

Совсем недолго говорили о переезде большевистского правительства в Москву, дольше о том, что верующих не пустили на Пасху, в этот раз позднюю, 4 мая, в Кремль.

А летом дошли слухи о расстреле царя...

Одним словом, событий было так много и они менялись с такой быстротой, что даже рисунки, которыми теперь Даниил отражал взволновавшие его события, быстро теряли свою актуальность. И тем не менее он рисует. Только уже не сибаритствующего дядю Филиппа с его сутуловатостью, густыми бровями, бородкой клинышком, которую он любил поглаживать сверху вниз, словно собирая в щепотку, и не оригинальную подругу Шурочки, налысо выбритую загадочную Эсфирь (она ходила в мужском костюме и её небольшая, не по-женски лысая голова произвольно притягивала взгляд и вызывала желание ощутить колючесть упорно отрастающих волос), а брюхатого господина с рукой в кармане и тощего – с тросточкой. И пишет их диалог:

– Василий! Ты мой дворник бывший?!

– Ишь буржуй, худышкой стал! А во-вторых, какой я тебе дворник? Кто старое вспомнит – тому глаз вон.

– А вот мы, Василий, настоящее вспоминаем, ты теперь будешь буржуй, ты, мой дворник.

Взрослые картинку обсудили, соглашаясь, что устами младенца отражается та самая истина. А потом дядя Филипп как всегда сел за рояль и то, что было там, за стенами дома, уже не казалось таким пугающим...

Но уверенности дяди Филиппа, и не только его, в прекрасном будущем уже очевидно поубавилось. К тому же ощутимо менялся привычный образ жизни, даже пациенты стали обращаться меньше к своим докторам, словно совсем перестали болеть. Надо было на чём-то зарабатывать, чтобы содержать семью, и доктор Добров составил рецепт дрожжей, благотворно действующих на организм. Стоили они недорого, а отклики первых больных оказались настолько хороши, что желающих их заказать становилось всё больше. Сам дядя Филипп уже не успевал их разносить по адресам, и тогда Даня вызвался помочь. А с ним охотно согласилась бегать по Москве Танечка Оловянишникова, которую он знал столько же, сколько помнил себя. Она жила рядом, была верным другом во всех играх и делах. Вдвоём они обошли почти всю Москву, приобретая привычку к неспешным прогулкам по её улицам с внимательным разглядыванием и обсуждением всего, что встречалось на пути.

Но более всего Даниила тянуло в Кремль. Сердце Москвы – Красная площадь с собором Василия Блаженного – было для него олицетворением Горнего мира и, а Большой театр – исключительно земным порождением. Это было особое место, которое он остро чувствовал, но не мог объяснить почему.

А ещё он любил гулять в Нескучном саду...

И было интересно путешествовать на дребезжащем трамвае по Арбату, окидывая взглядом пёструю публику, которой всегда здесь много.

Вообще на трамвае можно было многое объехать и он пользовался этой возможностью, чтобы увидеть незнакомые ему уголки Москвы.

А ещё у него был свой мир. Он так и написал в предисловии, которое должно было разъяснить читателю, как относиться к тому, что они прочтут. «Автор сочинения «Юнона» имел целью позабавить молодёжь своеобразной и оригинальной выдумкой «мой собственный мир»... Лишь некоторые дети придумывали от скуки подобные вещи... Автор сочинения «Юнона» фантазирует, что где-то в бесконечных полутёмных пустынях вселенной есть уголок с почти такой же, как и наша, планетой. Эту планету, которую он окрестил именем «Юнона», т.е. богиня плодородия, населяют такие же люди как мы сами».

По вечерам, укладываясь в постель, а нередко и днём, отвлекаясь от скучного урока в гимназии, он уносился мыслями на свою планету, пристально разглядывая её поверхность, открывая уклад жизни, знакомясь с правителями государств, портреты которых он рисовал и развешивал на стенах своей комнаты.

Ему не нужна была большая планета, которую трудно охватить взглядом, и он решил, что Юнона значительно меньше Земли. А следовательно, она быстрее вращается и её год тоже меньше и составляет всего 64 земных дня. Но так как она всё же похожа на Землю, значит, материков на ней также пять, только маленьких. И государства очень похожи на земные, они также или торгуют или воюют, захватывая чужие территории, а управляются они по-разному. У них даже боги разные.

И этих богов он тоже рисовал.

Теперь в его комнате было тесно от всяческих событий, происходящих на Юноне, и от правителей тамошних государств...

И ему было интересно и радостно придумывать, как от главы к главе он будет описывать, что в его мире на Юноне происходит. Все события должны были завершиться путешествием по Вселенной с посещением Луны, Марса, на котором есть жители и о них он тоже расскажет, затем мимо Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, корабль долетит до звезды Альфа, в систему которой Юнона и входит, и там будет ...

Нисколько не сомневаясь, он предположил, что там его путешественники увидят рай, в котором теперь мама и Бусенька...

Но как тот должен был выглядеть, представить никак не получалось, отчего вдруг возникли сомнения, и он написал в плане своего сочинения: «Что это – рай?» А затем добавил ещё одну, последнюю, главу «Ай! А это – ад!.. ай!», посчитав, что она также необходима, но пока не определив, кого из знакомых там увидит...

Но был и другой мир, в котором он не был летописцем, как в своём.

...О смерти Леонида Николаевича Андреева Добровы узнали слишком поздно, чтобы успеть на похороны. Да и Финляндия была уже за границей и время было не для поездок, поэтому он не видел отца в гробу. Но представляет как это было сентябрьским днём 1919 года, когда уже больной, но всё ещё настроенный воевать с большевистской идеологией, отец покинул этот мир, отправившись вслед за мамой и Бусенькой по дороге в Рай.

Во всяком случае он надеялся, что в Рай, хотя никогда не был с отцом по-настоящему близок...

Добровы выбрали для него частную гимназию. Здесь он увидел Галочку Русакову. Они учились в одном классе и он довольно скоро понял, что она и есть главная героиня его сочинения и даже его жизни. Всё в этой девочке привлекало его. Ему хотелось видеть её постоянно, но они виделись только в классе, у неё были другие интересы и ей нравились другие мальчики. А он грезил, как они, взявшись за руки, будут гулять по тем местам в Москве, которые так дороги ему...

Правда, время было уже не для гуляний, на улицах стреляли, грабили, убивали... На смену одним правителям так стремительно приходили другие, что трудно было разобраться, кто куда ведёт страну. Наконец верх взяли большевики, на улицах стало много людей в шинелях и штатских в кожанках и с оружием. Какое-то время гимназия ещё работала как прежде, потом становилось всё труднее придерживаться прежнего распорядка, многие учителя и гимназисты ушли из неё, первые по причине ненужности их предметов или по нелояльности к новой власти, последние не видя смысла в продолжении обучения. Всё, что происходило теперь вокруг, было так непостижимо интересно, что заветная тетрадь с «Юноной» была забыта. Но зато другая, куда он записывал стихи, теперь часто открывалась...

Свои чувства к Галочке он держать в себе не мог. И какое-то время ему казалось, что она тоже испытывает к нему, пусть и не такое всепоглощающее, как у него, ощущение благодарной нужности. Ей было интересно с ним разговаривать, он это видел. Но видел и то, как она провожала взглядом других гимназистов, особенно тех, кто был старше. Иногда она, не задумываясь, что делает ему больно, спрашивала:

– Данечка, скажи, а вот этот мальчик такой же умный, как ты?.. Мне кажется, он тоже пишет стихи...

Он сердито поджимал губы и коротко бросал, что этот мальчик ему незнаком, но привлекательная внешность не всегда говорит об уме.

– И у девочек тоже? – в отместку спрашивала она, не сомневаясь, что в девочках главным для мальчиков как раз является внешность.

Но он не соглашался, потому что уже понимал очарование умной женщины, даже если та и не была красавицей. Такой в его памяти осталась Бусенька. Такой была мама Лиля. И даже Шурочка, удивлявшая экзотичностью своих нарядов, поступков и суждений. Правда, она готовилась стать актрисой и её поведение он считал исполнением ею же выдуманных ролей.

Но были и другие заботы и игры, в которых каждый старался самоутвердиться перед сверстниками, иногда ссоры и даже драки, которых он старался избегать, но если не получалось, поступал как и положено мальчишке.

А ещё дух гимназии, в которой учителя позволяли ученикам раскрыть свои способности, множил споры и эксперименты. Так однажды заспорили, сколько груза поднимут воздушные шары. В складчину купили связку шаров и стали искать, что привязать. Мимо пробежала дворовая собачка. Кто-то предложил использовать её вместо груза. Эта идея всем понравилась, потому что позволяла увидеть, как поведёт себя живое существо, когда оторвётся от земли. Пёсика подманили и привязали шары. И неожиданно для всех спорщиков те подняли собаку до второго этажа и она с громким лаем, пугая прохожих и удивляя выглядывающих из окон жильцов, летела вдоль переулка, пока шарики не перестали её держать...

Они переходили из класса в класс, взрослея и не очень-то вникая в круговерть вокруг, потому что в гимназии, которая умудрилась сохраниться, что возможно было только благодаря влиянию родителей гимназистов и покровителей, которые, кто искренне, а кто по необходимости приняли новую большевистскую власть, занятия шли не прерываясь. Добровы же большевиков то принимали, то не принимали, в отличие от крёстного Даниила, который был на короткой ноге с их вождём Лениным. Но так же как и прежде этот дом был открыт для гостей, куда теперь они тянулись особенно в осенние и зимние холодные вечера, потому что у Добровых всегда было тепло: пациенты доктора часто расплачивались дровами. Правда теперь это были не друзья и ровесники хозяев, а молодые и азартные сверстники Шурочки.

У большевиков сторонников становилось всё больше и больше. Было холодно и голодно и всем хотелось уже спокойствия, а не перемен.

Леонид Николаевич эмигрировал в Финляндию. Он был всё также категоричен и непримирим: «Большевики не только опоганили революцию, они сделали больше: быть может навсегда убили религию революции. Сто с лишним лет революция была религией Европы, революционер – святым в глазах врагов.... Ясно, что Бог ушёл из революции и превратилась она – в занятие».

Большое семейство Андреевых в Финляндии бедствует. Посланец передаёт Леониду Андреевичу предложение Горького дорого продать сочинения издательству, которое тот организует. Но отец отвергает это предложение своего старого и, как оказалось, милосердного к идейному противнику друга-врага.

Что касается Даниила, то он относился к происшедшим переменам и к новой власти вполне лояльно, веря в то, что со временем всё станет лучше, хотя изучение истории революции в той же Франции не располагало к оптимизму.

В дела отца он особо не вникал, они виделись с ним в последний раз в начале 1918 года. Но имя писателя Андреева было у всех на устах и Даниилу стоило немало трудов, чтобы в какой-то мере отстраниться и от отца, и от Горького, который становился всё более известным и влиятельным деятелем уже новой России.

Главным объектом интереса теперь была обворожительная Галочка или, когда она не обращала на него внимания, другие повзрослевшие и такие притягательные девушки. Галочка была лучше всех, но она честно сказала ему, что ей нравятся другие и они могут быть только исключительно друзьями. И он согласился быть её другом, нежно обожающим и не оставившим надежду когда-нибудь стать и любимым...

Он писал теперь стихи в первую очередь именно для неё, видя её облик перед собой, такой воздушно-притягательный, светлый... Но не всегда решался ей их прочесть.

Ему было уже почти пятнадцать лет, вокруг все менялось динамично и трудно объяснимо. Теперь в его жизни были неразделённая любовь и притягательные Шурочкины подруги и знакомые.

Так и не ставшая актрисой из-за боязни сцены, что чрезвычайно удивило всех её знакомых, она прекрасно чувствовала себя среди интеллектуальной публики, представляя перед гостями то загадочной персиянкой, то недоступной египтянкой. И к друзьям старших Добро-

вых: писателю Борису Зайцеву и его жене Вере Алексеевне, актрисе Надежде Сергеевне Бутовой, подруге Елизаветы Михайловны (правда она теперь бывала совсем редко, болела), вдове композитора Скрябина Татьяне Фёдоровне, пианисту Игумнову, с которым Филипп Александрович любил играть на рояле в четыре руки, добавились друзья Шурочки. Подолгу жили здесь болезненная Эсфирь, Виктор и Вера Затеплинские, впечатлительная Варя Минович, которую все звали Вавой. Самая интересная и непредсказуемая Эсфирь, которая чаще бывает раздражённой, чем умиротворённой, и вечно с кем-то конфликтует. Но она здесь давно и уже своя. А Виктора, бывшего офицера, вдруг арестовали, отчего Вера стала безутешной и тоскливой.

Иногда заходили Владимир Маяковский, Лиля Брик, Марина Цветаева.

Вновь объявившаяся Олечка Бессарабова, когда-то бывшая воспитательницей Даниила, а потом подруга Шурочки, познакомила их со своим братом Борисом, который воевал, был ранен и после госпиталя командирован в военную железнодорожную организацию столицы. Он был большевиком и очаровал Марину Цветаеву (ее встретил на одном из собраний у Шурочки, пикировавшую здесь с громогласным и загадочным Маяковским, уже слывшим первым поэтом нового времени). Цветаева, претендующая также на это звание, однажды вечером прочла стихотворение, посвящённое ему. Это стихотворение было неинтересным, оно неловко скрывало завистливую насмешку и не запомнилось Даниилу. А вот ответ Маяковского был короток и отменен: «Поэты града Московского, к вам тщетно взываю я – не делайте под Маяковского, а делайте под себя!».

Они с Ариадной Скрябиной, дочерью композитора и его сверстницей, также пристрастной к сочинительству, тоже читали свои стихи, заслуживая поощрительного одобрения.

Иногда заходил к гостям и Александр Добров, высокий, стройный, красивый, неотразимый для женщин трепетных, в основном балерин и актрис. Интеллектуальные разговоры его мало прельщали, он предпочитал обольщать внешностью, поэтому долго не задерживался, уходя к очередной своей поклоннице.

Шурочкины гости все были старше Даниила и у них были свои симпатии. Цветаева соблазнилась Борисом Бессарабовым: «Коммунист... Без сапог... Ненавидит евреев... В последнюю минуту, когда белые подступали к Воронежу, записался в партию. Недавно с Крымского фронта... Отпускал офицеров по глазам...

Слывёт дураком... Богатырь... Малиновый – во всю щеку – румянец – кровь взыграла! – вихрь неистовых – вся кровь завилась! – волос, большие, блестящие как бусы, чёрные глаза...»

А Шурочке понравился Александр Коваленский. Теперь в доме Добровых часто собирались три Александра: сама Шурочка, её младший брат Александр и жених.

Коваленский был увлечён мистикой и находил некий мистический смысл во всём происходящем в России, и он нравился Даниилу больше всех.

Впрочем, Россия теперь воспринималась как-то отстранённо, столичные жители были озабочены решением собственных проблем, привыканием к новой власти и к новым условиям существования. По инерции ещё ходили друг к другу в гости, но столы становились всё менее хлебосольными, а разговоры менее оптимистичными: где-то на окраинах новой советской России шла война, в которой русские убивали русских.

А в доме Добровых всё ещё старались жить как прежде: Елизавета Михайловна всё также проводила дни на кухне за стряпнёй для семьи, приживалок и гостей, Филипп Александрович свободное от пациентов время – в латыни, в стихах... Шурочка теперь была главным истопником, она отвечала за тепло, за печи. Даниил же весь обитал в своём творчестве и в своей юной жизни, отчего в его лице многие видели следы напряжённой работы мысли, подтверждавшие одарённость мальчика, превращавшегося в юношу.

Ему уже исполнилось пятнадцать лет. И у него есть свои тайны и откровения. Как отметила проницательная Вава: «Ты, Данечка, один у нас в эмпиреях живёшь...»

И он действительно не замечает как вымоталась Елизавета Михайловна, мама Лиля, которая жалуется на сердечные боли, как мечется Шурочка, которая всё собирается куда-то уехать от всех. Даже не замечает то, что дом словно взбунтовался, то прорвало водопровод, то обвалился потолок, то испортилась плита, то вдруг оказалось, что закончились дрова...

Он знает что в этом доме его все любят. Это особенно проявляется, когда он болеет. Но его больше волнует другое. Кроме Ариадны. Но об этом мало кто знает.

...Однажды августовским вечером он бесцельно бродил по улицам, мечтая и загадывая свою будущую жизнь. Остановился в одном из скверов возле храма Христа Спасителя, очарованный видом, открывшимся перед ним: река, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Звонили к вечерне... и вдруг ему стало очевидно, что сейчас над ним и над всем окружающим миром есть другой, бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывавший всю историческую действительность России в странном и пока непонятном ему единстве с чем-то неизмеримо большим над ней... И понимание того, что задуманный им, но так и не описанный мир Юноны, и грёзы о Галочке, и все его планы – это всё приходит оттуда...

Вся обыденность вокруг него, всё уже познанное вступило в противоречие с этим, вдруг открывшимся прозрением. Оно было сильнее. Оно всё более охватывало его, наделяя не только новым знанием, но и неведомой прежде силой... Он уже определился, чем бы хотел заниматься. Не обладая музыкальным слухом, как дядя Филипп, который радовал гостей замечательной игрой на рояле, он удивлял всех окружающих своими чувством слова. Они поражались его рассказам об оттенках и многослойности слов и фраз, а он удивлялся тому, что они не слышат, не понимают очевидной магии слова...

Но и в суетной жизни тоже были события радующие. В середине февраля в год пятилетия революции состоялось венчание-свадьба Шурочки и Коваленского. Шурочка вся светила от счастья и явно была в восторге от теперь уже мужа, который был и умён, и молод, на пять лет моложе невесты, и изящен. Он был троюродным братом Александра Блока, которого Даниил считал величайшим поэтом. И несмотря на молодость, в суждениях мог бы дать фору профессорам. Он начинал учиться на медицинском факультете в университете, но скоро увлёкся физикой и аэродинамикой и занимался у Жуковского.

На праздничном ужине были родные и близкие, в том числе Варя Минович, сестра Коваленского Мария и её муж, Сергей Соловьёв, внук историка Соловьёва и двоюродный брат молодого мужа, профессор-филолог Грушка и отец Виктора профессор-математик Коваленский. Разговор за столом зашёл о Флоренском. Затеяла его Минович, которая находилась под впечатлением его трудов и вдруг оказалось, что почти все присутствующие знали Флоренского. Филипп Александрович видел его у Бердяева, остальные в иных местах, но все отдавали должное его уму и обаянию.

Даниил, которого те, кто его давно не видел, нашли повзрослевшим, а женщины милым, с интересом слушал блистательный рассказ филолога и убедительные выводы математика и давал себе обязательство познакомиться с трудами Флоренского.

А следующий день – день рождения Александра Доброва – опять собрал гостей. Но на этот раз всё было как бывало прежде: говорили о мистике жизни и о мистике в этом доме, Коваленский – о несомненном влиянии героев своих рукописей на реальность. потом читал свои стихи. И наконец Филипп Александрович и адвокат Вильгельм Юльевич Вольф играли Вагнера в четыре руки.

А спустя месяц дом переживает настоящее столпотворение: Шурочка, её молодой муж и отец и мать мужа перебираются сюда на место жительства. Из вещей во всех комнатах – настоящие дебри, в которых бродят люди. Кроме больного Александра Доброва. Он лежит в своей комнате среди книг и гравюр. Не так давно приехавшая из Воронежа Ольга Бессарабова заходит к нему поднять настроение.

– Саша, все бегают как ветры-зефиры. У меня есть десять свободных минут. Говорите, не нужно ли вам что-нибудь сделать, принести, устроить, принять.

– Посидите со мной эти десять минут, а то я ошалел от топота и грохота и переселения народа.

– Тогда я лучше тут у вас наведу порядок.

И раскладывая книги по шкафам, находя место гравюрам, слушает Александра, мечтающего о тепле, о юге, о даче...

Возвращение Оли на руку Даниилу.

Через несколько дней он, маясь от зубной боли и желания бежать по своим делам, выполняет задание – мелет ячмень на кофейной мельнице, для пивных дрожжей.

Ольга не может смотреть на его страдающее лицо, забирает у него, не очень-то и сопротивляющегося, мельницу.

– Лети уж, страдающая птица...

И тот не может скрыть радости, но обещает обязательно «отработать».

Но выручает она его не так уж и часто, потому что постоянно живёт в Сергиевом Посаде и бывает в Москве наездами. Да и больше времени проводит с Коваленскими, всё не наговорятся об оккультизме. Он и сам любит слушать Александра Коваленского: так много тот знает, так интересно рассказывает...

Иногда Ольга приносит странные новости. Вот в последний раз рассказала, что видела на платформе Маяковского в окружении молодёжи. Сказала, что выглядел он очень хорошо: высок, строен, коротко острижен... А её знакомая рассказала, как на даче четверо мужчин несли Лилю Брик на простыне голую после купанья в реке, а Маяковский шёл рядом и поливал её водой из лейки.

А вообще она благоговеет перед Коваленским – «прозрачным от «предстательства» перед Богом за Люцифера», и очень подружилась с Александром, которого пытается отвлечь от кокаина, анаши и прочих плохих пристрастий. Хотя Даниилу кажется, что она просто в него влюблена. Она не скрывает, что он «сверхъестественно красив».

Но в начале февраля, через год после Шурочкиной свадьбы, женится и Саша Добров. На Ирине Филатовой, которой всего-то шестнадцать лет, легонькой, тоненькой... но совсем не похожей на обитателей этого дома. Она некрасива, но в ней есть какое-то очарование. Их с Александром связывает слабость к бездумной жизни. И Шурочка, подавшись за столом к мужу, Олечке Бессарабовой и Дане, предложила тайный тост «за просветление двух душ». И все, глядя на молодых, подумали о том, что непросто будет Александру жить в непривычной ему среде, явно не склонной к душевным разговорам, в семье Ирины, так настояла тёща...

Вдруг у Коваленского обнаружился туберкулёз позвоночника, эскулапы долго решали: замуровать его в гипс или же надеть корсет. Даниилу тоже не хотелось, чтобы тот был лишён возможности двигаться, и он порадовался, когда консилиум решил, что достаточно корсета.

В 1923 году Даня и его сверстники покидают стены уже не гимназии, советской школы. Им по семнадцать и восемнадцать лет и отныне их пути разойдутся. Но пока они все вместе и у них есть КИС – кружок исключительно симпатичных, кружок друзей, который сложился к последнему классу. В него помимо Танечки Оловянишниковой вошли Леночка (Нэлли) Леонова, Ада Магидсон, Галя Русакова, Лиза Сон, Юра Попов, Кирилл Щербачёв, Борис Егоров... И после выпускного они едут в именице Леоновых в село Осинки, недалеко от озера Сенеж. Играют в крокет, бегают в озеро купаться, бродят по окрестностям, острят... и они с Адой творят... «Осиниаду»

«Порой весёлой сентября

Желаньем шалостей горя,

Три восхитительные рожки

*Помчались к берегам Сенёжа,
Кирилл, Данюша и Елена...»*

Они спят на сеновале, поделив его на мальчишечью и девичью части, временами пытаются границу сломать, выплёскивая симпатии друг к другу в долгих вечерних прогулках, путешествуя по звёздному небу, когда звёзды выглядывали из-за осенних туч... И каждый пытался отгадать свою судьбу и предсказать будущее друзей...

Галочка, вероятнее всего, скоро выйдет замуж. Может быть даже за нравящегося сейчас ей Юру Попова.

Возможно и он встретит ту, которая сможет заменить ему её. Но он не может не выразить всё накопившееся за эти годы безответной любви, не пробросить в будущее их отношения именно такими, какими он их видит и какими они обязательно должны остаться, несмотря на то, что с ними может случиться и какими они станут.

Потом он ещё не раз возвращается к набросанным тогда строкам, находя в них изъясны и добываясь предельной точности томивших его чувств.

*Над зыбью стольких лет незбылемо одна,
Чьё имя я шептал на городских окраинах,
Ты, юности моей священная луна,
Вся в инее, в поверьях, в тайнах.
Я дерзок был и горд: я рвался, уходил,
Я пел и странствовал, томимый непокоем,
Я возвращался от обманчивых светил
В твои душистые покои.
Опять твоих волос прохладная волна
Шептала про ладью, летящую над пеной,
Что мимо островов несётся, пленена
Неотвратимой изменой.
Ты обучала вновь меня моей судьбе -
Круговращению ночей и дней счастливых,
И жизни плавный ритм я постигал в тебе -
Приливы моря и отливы.
Союзу нашему, привольному, как степь,
Нет имени ещё на языке народном.
Мы не твердили клятв, нам незнакома цепь,
Нам, одиноким и свободным.
Кто наши судьбы сплёл? когда? в каком краю?
Туман предбытия непроницаем взору,
Но верность странницу хранил я и храню
Несказанному договору.
Неясны до конца для нас ни одному
Ни устье, ни исток божественного чувства,
И лишь нечаянно блик озаряет тьму
Сквозь узкое окно искусства.
Да изредка в ночи пустынная тоска,
Роясь, заискрится в твоём прекрасном взоре, -
Печаль старинных царств, под золотом песка
Уснувших в непробудном море.
Тогда смущенье нас и трепет обоймёт,
Мы разнимаем взор, молчим, страшась ответа,
Как будто невзначай мы приоткрыли вход*

*В алтарь, где спит ковчег завета.
Одна и та же мысль пронзит обоих нас,
И жизнь замедлит шаг – нежнее, чутче, строже,
И мы становимся друг другу в этот час
Ещё дороже.*

В прошлом остаётся школьная светлая, несмотря на неразделённую любовь, пора познания мира чувств и мира вокруг. Теряется в пространстве, но не в его существовании и Галочка. Он не сомневается, что ему делать дальше.

/Антитеза

Он не задумывался, какие отношения связывают отца и его крёстного; оба они были далеки от него и он нечасто ощущал их участие в своей жизни. Но всегда хотя и незримо, но весомо было родство этих двух людей. Теперь он начинал догадываться, что это духовное родство вытекает отнюдь не из земных отношений, хотя внешне кажется, что именно так, а является следствием каких-то более важных и могущественных связей. Одно время он огорчился от того, что его крёстным был Горький. Ему казалось, что тот не так искренен в жизни, как его, уже ушедший из этого мира, отец. Но в шестнадцать лет, когда он увидел воспоминания об отце, вышедшие благодаря дяде Лёше, он уже мог оценить столь неожиданный поступок того.

Ещё большей неожиданностью было то, что оказывается, узнав о смерти отца, Горький не смог и не захотел скрыть слёз. И во всеуслышание заявил, хотя это было не совсем безопасно, что это был его единственный друг.

И это было неожиданно для Даниила. Может быть они и были друзьями до его рождения или когда он был маленьким, но из суждений взрослых он знал, что они были людьми полярных взглядов и видел их ожесточёнными противниками. Теперь же, когда прочёл воспоминания, удивился: оказывается, они были две половинки единого целого, как ночь и день единых суток. В вышедшей к трёхлетию смерти отца «Книге о Леониде Андрееве» Горький откровенно, а точнее даже будет сказать, исповедально, рассказывал не только о человеке, которого он считал своим другом, но и о себе.

Да, они были разные люди, с разным видением этого мира. Спорили, словно непримиримые противники. Горький, как сам признавался, жил в мире мысли, веря исключительно в её силу, в человека. Отец же воспринимал мысль, как «злую шутку дьявола над человеком», а человека, «сплетённого из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта», духовно нищим.

Отец был нетерпим по отношению ко многому в человеческой природе. Это Даниил знал и помнил. И часто бывал нетерпим по отношению даже к родным. И хотя он отгонял эту мысль, но порой слыша это от окружающих, не мог избавиться от неё. И порой, в обиду за невнимание, соглашался, что отец именно его винит в смерти матери, поэтому и отдал его в чужую семью. Впрочем, Добровы уже давно не были ему чужими, теперь это было его семья, его отец Филипп и мама Лиля, брат и сестра. И всё же эта мысль не оставила его, не ушла бесследно и словно отгородила их с отцом друг от друга, лишив какой-либо близости и тем более взаимопонимания.

Теперь же, вчитываясь в строки этой неожиданной книги, он узнавал своего отца, глядя на него глазами других людей и прежде всего своего крёстного, последние сочинения которого он не только не понимал, но и не принимал.

Он даже кое-что подчёркивал в тексте.

«Ты врешь, что тебя удовлетворяет научная мысль,— говорил он, глядя в потолок угрюмо-тёмным взглядом испуганных глаз. — Наука, брат, тоже мистика фактов: никто ничего не знает — вот истина. А вопросы: как я думаю и зачем я думаю — источник главной муки людей. Это самая страшная истина!»

И соглашался с отцом и не соглашался с крёстным, понимая, что тот, в уничижение чужой и в угоду своей философии, описывает своего друга-соперника заведомо слабым: у отца никогда не было испуганных глаз, в споре они у него горели и смотрели куда-то в неведомое собеседнику.

«Высшее и глубочайшее ощущение в жизни, доступное нам — судорога полового акта. Да, да! — приводил Горький слова своего друга, опять же вызывающие сомнение. — И может

быть земля, как вот эта сука, мечется в пустыне вселенной, ожидая, чтобы я оплодотворил её пониманием цели бытия, а сам я, со всем чудесным во мне, – только сперматозоид».

Ну конечно же, он подобными откровениями неосознанно старается возвыситься, – подумал Даниил.

И ему было это неприятно.

На самом деле может быть и не было того пьяного разговора. А если и был, то не совсем такой, не в тех словах, в которых теперь зачем-то его вспоминал крёстный. Хотел показать чужую гордыню? Но разве так поступают с друзьями?

«Я, брат, декадент, выродец, больной человек. Но Достоевский был тоже больной, как все великие люди. Есть книжка, – не помню, чья, – о гении и безумии. В ней доказано, что гениальность – психическая болезнь. Эта книга – испортила меня. Если бы я не читал её, я был бы проще. А теперь я знаю, что почти гениален, но не уверен в том, – достаточно ли безумен?»

Он вновь и вновь перечитывал эти, кажущиеся предельно честными откровения Горького и его покидало чувство благодарности, которое он испытал, увидев книгу. И всё явственнее требовал ответа вопрос: что же связывало столь непохожих, фактически антогонистов, людей. Неожиданно пришла мысль – может быть, таким образом Горький соотносил себя с тем, что считал гениальностью?..

Даниил знал, что их отношения, он и теперь не мог назвать это дружбой, начались с публикации отцовского рассказа «Бергамот и Гараська», от которого, как писал Горький, «повеяло крепким дуновением таланта».

Так может быть это вечное соперничество, которое присутствует во всякой любви. Соперничество Моцарта и Сальери...

И отец это чувствовал.

А Горький, не осознав, что это его саморазоблачение, взял и увековечил эту правду:

«Я боюсь тебя, злодей! Ты – сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.

И снова серьёзно:

– Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного, – а? Как ты думаешь?

Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно и что ему не хватает знаний.

– Надо учиться. Читать, надо ехать в Европу...

Он махнул рукой.

– Не то. Надо найти себе бога и поверить в мудрость его...

Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:

– Безумный, который стучит, это – я, а деятельный Егор – ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни».

И Даниил был благодарен Горькому за это признание в собственном безумии и от этого ещё больше уважал отца, сожалея, что не имел счастья вести с ним подобные беседы. Может быть потому, что был мал. А может по какой другой причине...

«Я знаю, что бог и дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь её смысл, в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их плотью и кровью мира. А вложив все, до конца, силы свои в эти две противоположности, человечество исчезнет. Они же станут плотскими реальностями и останутся жить в пустоте вселенной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом нет смысла? Но его нигде, ни в чём нет».

Эту фразу Даниил выделил особо, ещё до конца не постигнув её смысла, но отчего-то зная, что обязательно к ней вернётся.

А ещё он подчеркнул, с улыбкой и удивлением:

«...И наконец русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером – чёрт знает, чем ещё! И – всего меньше – самим собою.

Усмехаясь, он добавил:

– По этому пути шёл мой хороший приятель Горький, и – от него осталось почтенное, но – пустое место. Не сердись».

И Горький представился ему грешником, который вот так исповедалось пытался всенародно покаяться...

Теперь Даниил более всего близок с Коваленским. Тот всё ещё ходит в корсете. К тому же у него обнаружилась эпилепсия. Даниилу семнадцать, ему двадцать шесть и он жалуется всем знакомым, что до сих пор ничего не сделал в жизни значимого и не стал чем-нибудь... Но для Даниила он прежде всего поэт. У него необыкновенный творческий ум, эрудиция, музыкальный вкус, хорошо играет на фисгармонии, рисует. Он очаровывал самого скептически настроенного собеседника, не скрывал своих мистических убеждений и знакомые женщины влюблялись в него, а заодно и в Шурочку. Ольга Бессарабова не скрывает своего обожания и по возможности приезжает к ним из пригорода и тогда они говорят ночи напролёт...

Шурочка мужа обожает и даже перестала любить театр, который тот не признавал. И зовёт его ласково «Биша», чтобы отделять от других Александров. А тот в свою очередь стал Даниила, с которым быстро сошёлся, звать «Брюшон».

Коваленский писал стихи в стол, не надеясь на публикацию и читая только самым близким людям. Даниил любил эти вечера читок:

*«... Но папоротник абазжура
Сквозит цветком нездешних стран...
Бывало ночью сядет Шура
У тихой лампы на диван.
Чуть слышен дождь по ближним крышам.
Да свет каминный на полу
Светлеет, тлеет – тише, тише,
Улыбкой дружеской – во мглу.
Он – рядом с ней. Он тих и важен.
Тетрадь раскрытая в руке...
Вот плавно заструилась пряжа
Стихов, как мягких струй в реке.
Созвездий стройные станицы
Поэтом-магом зажжены,
Уже сверкают сквозь страницы
«Неопалимой купины».
И разверзает странный гений
Мир за мирами, сон за сном,
Огни немислимых видений,
Осколки солнц в краю земном...»*

«Неопалимая купина» – это поэма Коваленского. Для своих.

А ещё Коваленский писал детские стихи. Для всех.

И Даниил хотел быть похожим на него и также легко писать...

Он собирался поступать в университет, но несмотря на то, что вышла книга об отце и тем самым как бы тот был признан новой властью, он был уже «сыном контрреволюционного писателя» и таких даже не допускали к экзаменам.

Поэт Брюсов только основал литературный институт, в который охотно поступали даже наследственные поэты. Здесь учились Игорь Дельвиг, потомок поэта и друга Пушкина, внука издателя Лена Сытина, дети менее известных, но имеющих отношение к литературе людей, и Даниил решил пойти туда, не сомневаясь в своём поэтическом призвании.

...Сочельник 1924 года встречали большой компанией у искусствоведа Анатолия Васильевича Бакушинского, который был хранителем галереи, устройтелем выставок и преподавал Даниилу. Пришли Коваленские, Добровы, Александр с Ириной, Даниил, Оля Бессарабова и другие знакомые хозяина. За столом сели так, что один его конец был занят гостями пожилыми и солидными, другой молодыми. Говорили как всегда в основном об искусстве и может поэтому женщины посплетничали и об облике мужчин. Александр Добров всеми без исключения был признан самым высоким и самым красивым. Коваленский – самым умным. Что же касается Даниила, то Вавочка сказала, что его голова похожа на голову Байрона с профилем Гоголя, но остальным больше понравилось сравнение его с врубелевским демоном, с чертами его отца. Кто-то сказал, что Даниилу можно играть Гамлета без грима. И следом посыпались предположения, что он похож и на композитора Листа и на Паганини, если, конечно, сделать хороший грим.

Обсуждали не очень громко, бросая взгляды на явно смущённого Даниила, который сам считал себя некрасивым.

Шуточно гадали и как всегда читали стихи..

А потом был траурное окончание января – умер Ульянов-Ленин (на плакатах было начертано более точное «Ильич умер. Ленин жив»).

27 января похороны Ленина. День морозный, везде костры и вереницы, толпы людей в гнетущей тишине, разрываемой заводскими гудками.

Олечка Бессарабова не скрывает переполнявших её эмоций: «Острое чувство события огромного значения – смерть Ленина. Его жизнь так тесно слита с жизнью страны. Записываю в отдельной тетради все отзвуки о нём от живых людей, видевших его, работавших с ним, слышавших его. Какая это целеустремлённая, большая жизнь. Человек.

Ленин не только для нашей страны, на весь мир. И не только, когда он жил на свете, а навсегда и на будущее, может быть, ещё больше, чем при его жизни».

Но время берёт своё и 12 февраля Шурочка и Биша отметили два года счастливой семейной жизни. И на этом событии восемнадцатилетний Даниил впервые был в костюме, который ему предложил Коваленский. А Александр Викторович надел чёрную бархатную блузу Даниила с отложным воротником, которая очень пошла ему, так что женщины стали советовать дома ходить всегда в такой одежде.

Говорили о Михаиле Бакуanine, о «Бесах» Достоевского и статье Гроссмана о Бакуanine и Ставрогине и критике на неё. Одним словом, разгорелись полемические страсти не на шутку, и хорошо, что вовремя перевели разговор на сочинения Уэльса: утопии не вызывают такого накала эмоций.

Этот год закончился тоже печально, в октябре не стало Брюсова. И существование института, собравшего тех, кто уже осознал себя поэтами, или мечтали таковыми стать, стало неясным. Наконец институт был преобразован в высшие государственные литературные курсы, вечерние и платные. Правда преподаватели остались те же, что были в институте, и требования тоже были прежними.

Но более всего занимали разговоры с Коваленским. Невзирая на периодически обостряющуюся болезнь, он не унывал. На новый 1925 год приболевшей Бессарабовой он прислал своё стихотворение:

*Под охраной серых зайцев
Видит Ольга много снов;
Видит крашенных китайцев*

*С Алеутских островов.
Вот летят, несутся мимо,
Шевеля крылами ель:
И Флоренский, и Ефимов
И туманный Рахмиэль.
Вот вокруг столпились братья,
Точно тени на стене;
Вспоминая про Зачатьев,
Ольга стонет в полусне.
Точно память – перевитый
Именами толстый том...
«Жизнь доходит до зенита,
Что-то ждёт меня потом!»
«Боже, вновь придут отливы,
Сяду, сяду на мели!
Ах, пока я так счастлива,
Уведи меня с земли!
Надоела форма носа,
И фигура, и черты,
Лучше, лучше в звёздных росах
Собирать Твои цветы!»*

Получилось не очень оптимистично, но вполне в стиле Коваленского с его мистицизмом и собственными страданиями.

Даниил отвёз больной снеди и книги «Голый год» Пильняка, «Своя душа» Мариэтты Шагинян и «Кубок метелей» Андрея Белого.

Добровых уплотнили, забрав часть комнат. Но всё-равно он оставался Ноевым ковчегом, дававшим приют тем, кто нуждался в крове. Правда теперь, приезжая сюда, Ольга Бессарабова спит на диване в прихожей. А за дверью, в приёмной для больных, на диване же – художник Фёдор Константинович Константинов. Он уже полгода ищет себе светлую, пригодную для работы комнату, и непременно здесь, между Остоженкой и Поварской. Он долго жил за границей, в Париже, в Италии, в Германии, но по мнению Ольги, «всё иностранное «как-то «не испортило» русскую его сущность».

Некогда огромный кабинет Филиппа Александровича разделён на шесть комнатушек, в которых живут: еврейская семья; сестра Елизаветы Михайловны – Екатерина Михайловна с собакой Динкой; Даниил; племянник Екатерины Михайловны по мужу Владимир Павлович; Фимочка. Три года назад её отец, священник из Сибири, у которого умерла жена, жил с восемью детьми в Москве под мостом. Елизавета Михайловна как-то пригласила его к себе и он умер, когда прилёг на диван отдохнуть. Всех детей, за исключением старшей – Фимочки, удалось устроить в разные детские учреждения.

Из спальни Елизаветы Михайловны дверь в комнату Коваленских, но она завешана коврами с двух сторон, а входят к Коваленским из коридора. Из этого же длинного коридора ходят в свои комнаты ещё члены двух семей.

Кроме рояля Филиппа Александровича, фисгармонии Александра Викторовича в еврейской семье, появилось пианино, которое, правда, пока издавало только звуки гамм.

А ещё в доме жили теперь три кошки, их такая теснота совсем не смущала, в отличие от Даниила, он теперь не ощущал прежнего уюта и собственной свободы в некогда просторном доме.

В октябре Александра Доброва, который жил отдельно, отвезли в больницу для нервно-больных: сказалось многолетнее употребление кокаина и анаши...

Эту беду каждый переживал по-своему, но, несомненно, тяжелее, чем если бы не было такого уплотнения...

Только Коваленский не растерял вдохновения, сочиняя сказки в стихах для дошколят: их охотно брали в Госиздате.

Александры окружали Даниила. Это имя обладало какими-то чарами. Сестра – Александра, брат – Александр, муж Шурочки – Александр. И наконец, Сашенька Гублёр, которую он встретил в институте...

Она была на год младше, приехала из Киева и довольно быстро и бесстеснительно, как бывает при восторженной первой любви у экзальтированных девушек, стала считать его своим суженым, настойчиво заставляя его исполнять эту роль и ускоряя близость. Впрочем, подобные отношения соответствовали времени, свободная любовь при полном равенстве полов была в моде. «Долой стыд!» – под таким лозунгом коминтерновец Карл Радек провёл колонну обнажённых по Красной площади. К тому же Сашенька не могла без него жить и могла объявиться даже среди ночи, уводя его с собой гулять по Москве. Её желание быть с ним было настолько сильным, что он наконец перестал сопротивляться...

И они тайно обвенчались.

Придя домой, Даниил долго не решался сказать об этом. Наконец осмелился:

– Mamочка, я перед тобой очень, очень виноват, простишь ли ты меня когда-нибудь? – искренне повинился он перед мамой Лилей.

Елизавета Михайловна уже догадывалась, что такое начало разговора связано с Сашенькой, которая за это время так и не захотела по-настоящему познакомиться с ней, с остальными домочадцами. Но спросила, называя его так, как звала в минуты особой близости.

– Дуся, дитя моё, в чём дело?

– Mamочка, я женился...

Она ожидала чего угодно, только не такого признания. Справившись с волнением, понимая, что жениться он мог только на Сашеньке и теперь уже ничего не изменить, всё же не выдержала, спросила:

– Милый ты мой, зачем же ты это сделал?

– Mamочка, так надо было, да мы и любим друг друга.

Она не стала допытываться, почему так было надо, поверив ему и предполагая некие данные им обязательства. И не поверила, что он её любит. Сашенька, вероятно, действительно его любит, как любят эгоистичные натуры, не желая ни с кем делить, оттого и не захотела войти в их семью, а вот он... Он просто не устоял перед её напором...

– Почему же ты сделал это тайком от нас? – вздохнув, спросила она.

Он, глядя ей в глаза, признался:

– В церкви во время венчания я почувствовал, что сделал не так, как надо, мне было так тяжело, что тебя не было в церкви. И мне всё казалось, что ты войдёшь...

Нет, он её не любит, подумала Елизавета Михайловна, проницательно предвидя короткий срок этого неуютного никому брака.

И действительно, дальнейшее подтвердило это.

Даниил переехал жить к Сашеньке, но скоро заболел скарлатиной. И тут же к нему поехала заботливая и решительная сестра Шурочка и, не слушая возражений молодой жены, забрала брата домой.

После выздоровления он уже не вернулся ни к Сашеньке, ни на курсы, не в силах видеть женщину, которую, как он сам считал, обманул и оскорбил...

В августе 1926 года они венчались, а в феврале следующего года брак расторгли...

Но наряду с этой душевной драмой, которая заставила его многое переосмыслить в себе и своём поведении, чем-то напомнив ему сочинения отца, в которых так много было тёмного,

случились в эти годы и светлые проблески. Так он побывал в Крыму, в Судакe, где принял участие в археологической экспедиции. Там же познакомился с художником Глебом Смирновым, в котором увидел родство душ. Вступил в только что созданный Союз поэтов. А пока ходил на курсы, часто общался с сокурсниками, удивляясь и поражаясь одновременно. Удивляясь талантности каждого и поражаясь разному отношению к жизни, творчеству. Вадим Сафонов, приехавший из Керчи и поразительно легко вписывающийся своим творчеством в требуемые властью каноны, легко писал на требуемые темы и благодаря этому публиковался. А вот Арсений Тарковский и Юрий Домбровский предпочитали писать только то, что хотели, избрав уделом чтение своих произведений друзьям.

Объявился пропавший было брат Вадим, с которым за эти годы многое произошло. В гражданскую войну он был в Добровольческой армии, вместе с остатками войск из Батуми попал в Константинополь. Потом были София, Берлин, который он не любил, но где вышла у него книга стихотворений. И наконец осел в Париже. Здесь он женился на Ольге Черновой, дочери художника Митрофана Фёдорова, которую воспитал отчим. В письме он писал, что хочет вернуться на родину, пусть сегодня это уже и Советская Россия. И Даниил надеялся на скорую встречу с братом.

Он пишет в Париж Вадиму:

«Дима, милый мой брат!

Долго лежало у меня большое письмо к тебе во много страниц, долго не мог решить – посылать его или нет, и наконец понял, что это невозможно. Понимаешь: так всё выходит в нём плоско, деревянно, грубо – просто неправильное впечатление может получиться, да и трудно вообще посылать подобное.

А многое нужно было бы рассказать тебе. В моей жизни произошло много очень тяжёлого за последний год. А так как ни с кем я об этом не говорю, то всё это накопилось в душе и требует какого-нибудь выхода».

И он доверяет всё невысказанное бумаге...

Он пишет роман «Грешники», главы из которого читает прежде всего Коваленскому. Тот уже занимается литературной работой профессионально, издавая одну за другой детские книжки, которые хорошо расходятся. Но это он не считает серьёзным делом, исключительно необходимостью зарабатывать, всё также самое лучшее, как считает, пишет в стол.

Впрочем, расхождения требований редакторов издательств и журналов с тем, что творили молодые поэты и прозаики, уже были очевидны. Редакторы, если и не свергавшие царя и не воевавшие за новую страну, видели главным достоинством идеологически выверенную линию произведения, отдавая предпочтение воспеванию гегемона – рабочего класса и большевиков-коммунистов. Многие из тех, кто не разделял этой установки, и Даниил в их числе, увидеть свои сочинения на страницах журналов и, тем более, в книгах, не особенно надеялись. Писать в стол было общепринято и даже почётно. Это свидетельствовало о свободе автора и даже смелости. «Грешники» тоже не писались для издания, в этом романе Даниил хотел рассказать всю правду о себе и о своём поколении.

Он писал, но тёмная тяжесть, вызванная, как он понимал, его неблагоприятными поступками, грехами, всё не отпускала. Он физически ощущает в себе борьбу светлого и тёмного, борьбу за свою душу.

*Дай искупить срыв в бездну роковой,
Пролить до капли кубок тёмной жизни
Перед тобой.*

И это случилось в одно мгновение.

Он вошёл в квартиру Добровых, в эту атмосферу добра, благожелательности, любви, и вдруг физически ощутил, как с него спала тёмная тяжесть и стало необычайно легко и ясно,

как давно уже не было. И перехватил взгляд вышедшего в прихожую дяди Филиппа, который, как ему показалось, понял, что с ним только что произошло...

Раскрытие

Теперь он был свободен не только от постыдного прошлого, низменных страстей, но и от давящего настоящего. Это внешнее давление он продолжал ощущать в каждодневной вынужденной суете, но уже воспринимал её не так остро как прежде. Хотя ещё не был до конца уверен, что преодолено прежнее состояние затемнённости, бессмысленной круговерти. Но нет-нет да и переживал вновь радостное освобождение от невидимых оков, которые, как ему казалось, носили все вокруг. И тот свет, который теперь был в нём, всё время подвергался смущению, соблазну, всё время кому-то мешал.

Он особенно остро почувствовал потребность ходить в храмы. Там не было такого влияния извне.

В один из весенних дней 1928 года зашёл в знакомую с детства церковь Покрова в Левшине и после пасхальной заутрени остался впервые на раннюю обедню, захотелось вдруг услышать первую главу Евангелия от Иоанна: « В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. / Оно было в начале у Бога. / Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. / В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков; / И свет во тьме светит, и тьма не объяла его...» Эта глава читается всего лишь один раз в году. Была глубокая ночь и с разных сторон церкви участвующие в службе священники и дьяконы возглашали поочередно стих за стихом, на разных языках – живых и мёртвых. И вдруг ему стало очевидно, что за этими звуками и торжественными движениями участников виден тот самый вышний, небесный мир, в котором вся планета и есть единый великий Храм, в котором происходит вечное богослужение просветлённого человечества. И вся история человечества есть нечто иное как мистический поток, словно неостановимое движение речки, которое он так любил наблюдать в детстве... А значит, смысл жизни каждого человека – служить свою службу в великом Храме. И ему теперь дано понимание этого...

Но это понимание не освобождало от насущных потребностей. Оставив надежду зарабатывать литературным трудом, он теперь пишет так, как ему Бог на душу положит. Не заботиться о куске хлеба пока позволяют гонорары, получаемые за книги отца. Его крёстный, Горький, оказался хорошим другом. Несмотря на то, что в 1921 году он из-за разногласий с Лениным и руководителями советского правительства уехал за границу, во многом благодаря ему книги Леонида Андреева выходят. А «Избранные рассказы» вышли в Госиздате даже с предисловием Луначарского. Идут в театрах и пьесы.

В марте 1928 года шестидесятилетие Горького по решению правительства отмечается с размахом. И тронутый этим, в мае он приезжает в Россию.

Крёстный и крестник не могли не встретиться. Но духовного родства между ними не было. Первый верен был дружбе и памяти, но уже не понимал ни новой страны, ни нового поколения. Не понимает и неприкаянного крестника. Он считает, что повторять его опыт бродяжничества, свободной от государства жизни, нынче невозможно и следует найти себе какое-то надёжное занятие. К тому же гонорары за книги отца не всегда будут такими, что позволят жить не трудясь...

А пока они позволяли и Даниил даже обещает пересылать часть денег Вадиму, которому в Париже живётся не сладко.

В Ленинграде Пушкинский дом открывает выставку, посвящённую Леониду Андрееву, и даже планирует создать музей. Даниил едет туда, остановившись в бывшей большой квартире отца на Мойке, где живут его двоюродные братья. Теперь она стала коммуналкой. Но это не мешает ему пережить возвращение в прошлое, постараться понять отца. Но тот всё также остаётся непостижимым до конца ни в своём творчестве, ни в своей жизни, хотя он ошутимо

чувствует своё родство и даже в какой-то мере своё продолжение в поисках ответа на одни и те же вопросы...

Иногда он пишет сутками напролёт, иногда бесцельно днями бродит по городу и не подходит к письменному столу. Многочисленные обитатели дома Добровых теперь заняты исключительно выживанием. Елизавета Михайловна даже жалуется в письме Вадиму, прежде на спонтанность Даниила – «неправильность работы», а затем и на собственные заботы, сообщая, что «Катя у нас за повариху, а я – за прачку».

В доме Добровых теперь мужчины заняты зарабатыванием денег, а женщины хозяйством. Коваленский наконец-то стал получать приличные гонорары. Александр архитектором так и не стал и работал художником-оформителем, благо такой работы теперь было полно, советская власть много внимания уделяла агитации и пропаганде. Научить Даниила писать шрифты было несложно, сказалась его склонность к рисованию, а работу найти ещё проще. Это уже был более или менее стабильный заработок.

Но если предоставлялась возможность жить как хочется, Даниил ею пользовался. Так на всё лето уехал вместе с Коваленским в Тарусу, место обитания многих не принявших новую власть. Да и окрестности здесь были замечательные и это для него было намного важнее. Цветущие луга, поля, высокое небо и простор перед глазами – всё это после Москвы было чудодейственным снадобьем. Природа изначально несла в себе и оптимизм, и чистоту, и вековечность... «Природа – хмелит, – делится он с Владимиром Павловичем Митрофановым своим ощущением, – разница в том, что в её опьянении нет ни капли горечи».

Но лето заканчивается, ему надо ехать в Ленинград, где он стоит на воинском учёте и просить отсрочки от армии. Пока он хлопочет об этом, они близко сходятся с Люсиком, Леонидом Аркадьевичем Андреевым, крестником его отца и его двоюродным братом. Люсик, также как и он, верит в мистические силы и процессы и не принимает материализм. Ночами напролёт они разговаривают друг с другом, находя много совпадений во взглядах на нынешнюю власть и на смысл жизни. И оба не понимают, как большевики-коммунисты могут отрицать Бога и устроить такие гонения на церковь. Не могут согласиться и с тем, что теперь не имеют никакой возможности выехать за границу, как это в своё время делали их родители. Даже Вадим не может приехать к ним. Эта власть совсем не уважает человека и не предоставляет самой необходимой свободы. Не говоря уже о том, что под запретом даже творчество, если оно не соответствует идеологии государства, то есть мысль...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.